

## ЛИТЕРАТУРНАЯ РОБИНЗОНАДА И ИЗОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВА

К. В. Лоцевский

Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов

Поступила в редакцию 13 апреля 2022 г.

**Аннотация:** статья посвящена рассмотрению влияния художественной литературы на формирование социально-гуманитарного знания Нового времени. Демонстрируется, каким образом возникновение жанра литературной робинзонады способствовало конструированию новых предметных областей, ставших объектами исследования и описания в зарождающихся научных дисциплинах – социологии и экономике. Инсулярная утопия рассматривается как прообраз современного «общества», в котором горизонтальные интересосубъективные коммуникации эмансипируются от вертикально организованных политических иерархий.

**Ключевые слова:** литература и наука, общество, экономика, инсулярная утопия, Робинзон Крузо.

**Abstract:** the article is devoted to the consideration of the influence of fiction on the formation of socio-humanitarian knowledge of modern times. It is shown how the emergence of the genre of literary robinsonade contributed to the construction of new subject areas, which became objects of research and description in new scientific disciplines – sociology and economics. The insular utopia is considered as a prototype of a modern «society» in which horizontal intersubjective communications are freed from vertically organized political hierarchies.

**Key words:** literature and science, society, economics, insular utopia, Robinson Crusoe.

Самосознание новоевропейской науки как беспрецедентно эффективной эпистемологической формы с самого начала развивалось в рамках двойной оппозиции – в противопоставлении «объективного», нейтрального знания всевозможным идеологически (религиозно и культурно) ангажированным до- и псевдонаучным познавательным практикам, с одной стороны, и заведомо ненаучным нарративным и художественным акциям – с другой. Артикуляция знания и художественное высказывание различаются как по своему объекту, поскольку знание описывает «реальное», а искусство конструирует «воображаемое», и способу осуществления, ибо знание генерализирует партикулярное, а искусство интерсубъективирует индивидуальный опыт, так и по своей основополагающей интенции: знание должно объяснять, искусство призвано убеждать. Таким образом, эта «объективность» должна рассматриваться в качестве конститутивного условия дискурсов, претендующих на научность, в их отличии от художественных и риторических, и именно она позволяет науке овладевать «реальным» миром, тогда как удел литературы – власть над читателем.

Однако наука не просто фиксирует данное: она постоянно открывает новые предметные области, обнаруживает новую реальность, которая не могла бы стать совокупностью фактов вне определенного способа рассматривания и в отсутствие адекватного ей языка описания. Таким образом, открытие ранее неизвестной предметной области, нового поля научного исследования, как правило, есть не что иное, как выявление прежде не фиксировавшихся или игнорировавшихся связей и взаимозависимостей. Например, «общество» и «экономика» как объекты социологического и экономического знания соответственно, т.е. как совокупность определенных связей и отношений, возникают лишь в ходе экспликации этих связей и отношений в дискурсах нового типа, в которых по-новому проводится различие между важным и неважным, существенным и несущественным и в которых случайное и контингентное вдруг обретает структуру, логику и связность.

Можно сказать, что подобно тому, как воображаемое пространство художественного текста возникает лишь одновременно с самим текстом, объект знания, его предметная область, конституируется только вместе с самим знанием, вместе с формой его выражения; и это верно как для «природы» милетских физиологов, так и для «экономики» и «общества» в соответствующих новоевропейских научных дисциплинах. Мы не можем эмпирически зафиксировать наличие этих объектов вне контекста их описания экономистами и социологами.

При этом и экономика (предмет политэкономического дискурса), и общество (предмет социологического) первоначально мыслятся не столько эмпирически, в качестве сводимого в единство множества релевантных для данной области явлений, сколько концептуально – как своего рода «идеи», спекулятивные модели, которым затем подыскиваются эмпирические соответствия. Скажем, самоочевидное для нас понятие «общества», по сути, представляет собой не более чем один из способов интерпретации совместного бытия людей, который мог сформироваться только на почве европейского модерна. «Общество» невозможно вне определенного мировоззренческого контекста, образованного целым комплексом эпохальных сдвигов в интеллектуальной, политической и художественной сферах. Отражением этих сдвигов становятся в первую очередь зарождение современного естествознания с его методологическими новациями, возникновение конвенционалистских концепций генезиса политических образований и развитие новых литературных форм и жанров. Одной из фигур, в которой, как в фокусе, сходятся эти тенденции, оказывается «инсулярная утопия» и/или «робинзонада»: топография острова с конститутивной для него границей между двумя гетерогенными стихиями, между внутренним и внешним, между «системой» и «окружающей средой», [1, с. 64], открывает широкие возможности для социально-антропологического конструирования. «Остров как эмбриональная клетка и элементарная единица в различных рефлексивных контекстах и дискурсах XVIII в. устанавливает нулевой меридиан генетического развития, которое для необозримых взаимозависимостей

и процессов намечает соответствующую стоп-линию и момент возможной транспарентности... Островной характер обретает статус эпистемического истока и получает логико-изобразительное значение для просвещенческой организации знания» [2, S. 187].

Идея острова максимально наглядным образом визуализирует единство порядка и локализации [3, с. 8], а изолированная островная популяция, хотя бы даже в лице одного-единственного представителя, позволяет моделировать процессы и ситуации, экстраполируемые затем на эмпирические условия существования человеческих ансамблей. Сама идея изъятия индивида или контрольной группы из повседневного коммуникативного контекста эпистемологически инновационна и в этом отношении созвучна тенденциям эпохи научных и политических революций. Типологически такое изъятие воспроизводит основной методологический прием нового естествознания, а именно – основывающееся на умозрительных идеализациях конструирование предмета исследования. По хрестоматийному замечанию Канта, «ясность для естествоиспытателей возникла тогда, когда... [они] поняли, что разум видит только то, что сам создает по собственному плану, что он с принципами своих суждений должен... заставлять природу отвечать на свои вопросы... Разум должен подходить к природе... со своими принципами, сообразно с которыми... явления и могут иметь силу закона, и... с экспериментами, придуманными сообразно этим принципам для того, чтобы черпать из природы знания... как судья, заставляющий свидетеля отвечать на предлагаемые им вопросы» [4, с. 17]. Это означает, что для получения знания о природе необходимо как бы изымать из нее отдельные компоненты (явления), так сказать, «инсулировать» их в соответствии с заранее построенными моделями, чтобы затем на основании данных, полученных в результате манипуляций с этими делокализованными «островами», формулировать универсальные высказывания, релевантные для всех соответствующих эмпирических областей. Таким образом, островная локация оказывается эпистемологическим мотивом и в конгломерате знания XVIII столетия получает общепризнанный статус эвристической фикции, способной выявить элементарный генезис каждой данной ситуации, а для него, в свою очередь, предложить концепцию транспарентного и оптимального порядка [2, S. 189]. Можно даже было бы констатировать, что научная революция, собственно, и состоит в легитимации инсулярно-утопических конструкций, выдаваемой за торжество эмпиризма.

В политической области (как в смысле политического знания, так и в смысле политической практики) эта тенденция проявляется в требовании рациональной, т. е. основывающейся не на эмпирических реалиях, а на разумных, выводимых из правильно понятой природы человека принципах организации функционирования государственных институтов. Сама идея общественного договора, по словам П. Слотердайка, представляет собой «антифактическое предположение» [5, с. 288], едва ли не демонстративным образом апеллирующее к невозможному (а стало быть, фиктивному, вымышленному) событию. Собрание аффективно

травмированных, но при этом рационально мыслящих индивидов одним лишь фактом заключения контракта изымает себя из природного порядка вещей, формируя эксклюзивное пространство, граница которого отделяет сферу действия универсальных законов разума от области природного хаоса, пространство, в котором субъект желания трансформируется в объект управления, контроля и учета. В классических версиях общественно-договорных теорий – от Гоббса до Руссо – речь еще не идет о каком-то особенном феномене «общества», какой-то автономной, эмансипировавшейся от политического порядка «социальной» реальности, хотя фундаментальная дифференция между естественным и гражданским состояниями (особенно у Гоббса), разумеется, предполагает оппозицию между природным и человеческим мирами. При этом от Гоббса к Руссо прослеживается своего рода «тавтократическая» тенденция: традиционное, теоретически обоснованное еще Платоном и Аристотелем разделение на властвующих и подвластных заменяется представлением о коллективе, являющемся одновременно и субъектом, и объектом властных отношений и управленческих функций. Именно эта тавтократическая общность станет основанием для позднейшего разграничения и противопоставления социальной и политической сфер и, в конечном счете, для «изобретения общества». Тавтократия, размывание и устранение конститутивной границы между властью и подвластными открывают пространство социального и экономического: жесткие вертикальные иерархические связи дублируются и в значительной мере вытесняются «нежными узами» [2, S. 83] горизонтальных коммуникаций.

Но литературная робинзонада, по сути, предвосхищает теоретические тавтократические модели. Робинзон Крузо на своем острове в единственном лице представляет обладающую тотальным и неделимым суверенитетом, т. е. властвующую над самой собой и управляющую самой собой общину. Если острова, по словам Слотердайка, – это «модели мира внутри самого мира» [5, с. 311], то воображаемый остров Д. Дефо может быть понят как модель будущих «воображаемых сообществ», описание которых в соответствующих специальных научных дисциплинах трансформировало «воображаемое» в «реальное», чья реальность постепенно стала настолько самоочевидной, что от нас требуются серьезные интеллектуальные усилия, чтобы хотя бы попытаться редуцировать наличную социальную фактичность к условиям возможности ее возникновения и существования.

«Робинзонада» может выступать в качестве своего рода «первичной сцены» генезиса «общества» как социологической интерпретации бытия-вместе, причем именно изолированность субъекта и инсулярность ситуации приобретают здесь решающее значение: в силу отсутствия возможности коммуникации и обменов, а стало быть, и предмета для конвенции, экстраординарные обстоятельства Робинзона оказываются исходным пунктом социологического мышления. Невозможность коммуникации актуализирует коммуникативную природу повседневной человеческой жизни. Исключительный пример становится точкой отсчета

для оценки тривиальных ситуаций. Робинзоада представляет собой одновременно и «естественное состояние» (вернее, пародию на него, которая подчеркивает всю искусственность доконвенциональной «естественности»), и *Ausnahmezustand*, чрезвычайное положение, которое только и может свидетельствовать о реальности суверенитета [6, с. 15]. Поэтому Робинзон (разом репрезентирующий и индивида, и общность), будучи суверенен в своих решениях в экстраординарной ситуации, должен быть суверенен и в обстановке повседневной социальной рутины. Общество, как автономная универсальная инклюзивная среда человеческого существования, конструируется с помощью исключения индивида из этой среды, акцентирования присущей ему асоциальности, его нахождением не только внутри, но и вне общества, причем это исключение имеет следствия как для индивида, так и для общества: индивид получает персональную автономию, а общество – свою специфическую структуру – локально-функциональное единство.

Фигура Робинзона одновременно репрезентирует и исключенного из общества индивида, и само это общество в целом. Георг Зиммель, отвечая на вопрос «Как возможно общество?», подчеркивал, что «априори эмпирической социальной жизни состоит в том, что жизнь не полностью социальна», что «индивидуальная душа... не встроена ни в какой порядок, не будучи одновременно и против него» [7, с. 519]. Без этой исключенности индивида (несводимого ко всем прочим индивидам и индивиду вообще) из общества не было бы возможно само общество, понимаемое как конгломерат функционально и локально связанных элементов. «Жизнь общества, – пишет Зиммель, – протекает... так, *словно бы* каждый элемент был предопределен к своему месту в этом целом, и... *словно бы* все элементы находились в некотором едином отношении» [там же, с. 523]. Выделенное курсивом «словно бы» (*als ob*, «как если бы») подчеркивает фикционалистский характер такого единства: редукция индивидов к их социальным функциям «антифактична» в эмпирическом отношении, но она впервые создает язык для описания множеств, рассматриваемых как единства. В качестве личности Робинзон исключен из человеческого коммуникативного контекста, но как функция он *словно бы* репрезентирует социальный – специфически человеческий – бытийный модус, поскольку полностью лишен того, что мы привыкли называть «личной жизнью»: его жизнь на острове представляет собой неделимое единство борьбы за существование и улучшение *conditio humana*, каждый аспект которого парадоксальным образом целиком и полностью «социален».

Поскольку Робинзон совершенно исключен из общества, он сам есть общество. Он – властитель и подданный в одном лице. В этом смысле появление Пятницы как «своего Другого», а затем и присоединение еще двух освобожденных пленников инверсивным образом трансформируют это тотально-сингулярное общество в политическую структуру: не индивиды заключают договор, порождая тем самым суверена, а суверен сам создает для себя подданных. Политическая структура сама для себя конструирует, «воображает» сообщество граждан-подданных, которым

за повиновение гарантируется безопасность. Характерна сцена присяги Робинзону освобожденного им английского капитана и двух членов его команды, которые были пленены мятежниками и, стало быть, насильственно возвращены в своего рода естественное состояние [8, с. 335]. Здесь легко прочитывается инверсивный парафраз гоббсизанского общественного договора. Если у Гоббса договор об отчуждении собственных прав в пользу третьего лица (становящегося с этого момента сувереном) заключали друг с другом свободные (до этого момента) и равноправные (и в равной мере бесправные, поскольку право учреждается лишь вместе с заключением конвенции) индивиды, то в романе Дефо уже наличествующий (и ощущающий себя таковым) суверен принуждает находящийся в ситуации крайней опасности (которая де-факто выступает в качестве искусственного «естественного состояния») лиц отказаться от всех своих прав в его пользу, тем самым переводя их обратно в гражданское состояние. «Общество» не формируется из атомарных индивидов, а изобретается, фабрикуется суверенной политической властью. Любое сообщество, по крайней мере, то, интегративные принципы которого выходят за рамки семейно-родственных связей, есть, говоря языком Бенедикта Андерсона, сообщество воображаемое [9], но чтобы его вообразить, требуется обладающий соответствующей способностью воображения субъект, который сам, в свою очередь, является плодом литературного воображения. Неслучайно использование термина «робинзонада», по сути дела, не подразумевает различия между (экономическим и социальным) знанием и литературным повествованием; робинзонада словно бы означает зародыш, из которого развивается как морфология повествовательного жанра, так и структура порядка знания [2, S. 189].

Таким образом, мы можем рассматривать робинзонаду и как литературный нарратив, и как эпистемологическую программу, и как описание социогенетической операции. Но, кроме того, в робинзонаде, понимаемой в качестве модели «сингулярного» сообщества, можно увидеть и «первичную сцену» рождения экономики как предмета возникающей политической экономии: модель «сингулярного» (автаркического) рынка, на котором один и тот же агент выступает и в роли производителя, и в роли потребителя товаров и услуг. Если Робинзон целиком и полностью «социален», то в той же мере он целиком и полностью «экономичен». Он соединяет в себе все три разряда выделенных впоследствии Франсуа Кенэ хозяйственных акторов, между которыми осуществляется круговорот материальных благ: он и земледелец, и землевладелец, и ремесленник, а сверх того, еще и потребитель всего произведенного им, причем это провоцируемое желаниями и потребностями потребление оказывается единственным стимулом всей экономической деятельности.

Остров – охватываемый со всех сторон инородной и очевидно бесплодной стихией земельный участок – словно бы предвосхищает будущую физиократическую одержимость землей и земледелием. Поскольку источником материальных благ на уединенном острове не может быть ни торговля, ни промышленность, ни денежная эмиссия, то самая пер-

вая робинзонада оказывается ко всему прочему еще и агрокультурной утопией. Если политэкономия, по словам Карла Маркса, любила робинзонады, то сами робинзонады уже были полностью ориентированы на политическую экономию [ibid., S. 186]. Робинзон, будто совершив круг, вновь оказывается в «естественном состоянии», которое отличается от гоббсзианского тем, что вокруг этого человека нет никого, кто мог бы отнять плоды его труда, но и он сам не может ни отнять их у других, ни на что-либо выменять. Как субъект желания, он мотивирован страхом смерти и надеждой на лучшую жизнь [10, с. 98], но ему не с кем заключать пакт о ненападении и некому передавать свои естественные права, чтобы получить взамен гарантии или хотя бы обещания безопасности. Он обречен на собственную суверенность и экономическую самодостаточность, в которых циркуляция прав и благ ограничена пределами его физического тела и персонального жизненного мира.

Таким образом, робинзонаду можно рассматривать как историю трансформации естественного состояния в социальное, которое, однако, со временем начинает восприниматься в качестве своеобразной реинкарнации «природы», утраченной в ходе цивилизационного процесса (первые признаки этой тенденции обнаруживаются в концепции «естественного состояния» Джона Локка, которое в определенном смысле выступает прообразом будущего «общества», отделенного от политической сферы). Это ко всему прочему свидетельствует о том, что существенный сдвиг в понимании того, что такое природа вообще и как с ней следует обходиться, назревавший и осуществлявшийся в течение XVIII столетия, затрагивает не только естествознание, но и сферу социально-гуманитарного знания.

В отличие от механистически истолковываемого государства общество и рынок (как пространство наиболее интенсивных социальных связей) мыслятся органически, т. е. как природное существо со свойственной ему внутренней целесообразностью, находящей свое выражение в его пространственном строении и связи органов, во «внутренней форме», которая в силу этого представляет собой «организацию» в буквальном смысле слова, не раскрываемую посредством механической причинности. Иммануил Кант, говоря о вещи как цели природы, отмечает, что для этого она (или, по словам Канта, «тело само по себе и своей внутренней возможности» [11, с. 398]) должна быть организмом, т. е. не просто оставаться машиной, наделенной только движущей силой, но обладать «распространяющейся (*fortpflanzende* – буквально «разрастающейся». – *К. Л.*) формирующей силой, не объяснимой одной способностью движения (механизмом)» [там же, с. 399]. Это свойство живого тела связано с внутренним совершенством природы, которое присуще вещам, возможным только как цели природы, т. е. органическим существам, и которое, согласно Канту, трудно сопоставить с какой-либо другой способностью, ибо организация природы не аналогична никакой известной нам каузальности. Сфера социальных и экономических отношений начинает пониматься именно как такой организм, спонтанные процессы внутри

которого протекают согласно сложно выявляемым специфическим закономерностям и вмешательство в которые извне может вести к неожиданным и зачастую негативным эффектам. Экспликация этих закономерностей и их влияния на самочувствие организма, собственно, и составляют задачу новой научной дисциплины – политической (или национальной) экономики, благодаря своей стремительной экспансии во все сферы культурной и общественной жизни превратившейся в своего рода универсальное знание, от которого ждут решения буквально всех актуальных и потенциальных проблем человечества.

Эта политическая (национальная) экономика, наука о «богатстве народов», исходит из факта наличия «наций», т. е. обладающих внутренним единством и коммуницирующих друг с другом «обществ», рассматривая это единство и эти коммуникации с точки зрения соотношения и движения людей, благ, товаров и денег. Общество – это прежде всего рынок, intersubъективные связи – в первую очередь экономические трансакции, все прочие отношения, сколь бы важными они ни были для отдельных индивидов, имеют лишь периферийное и второстепенное значение. Тем самым экономика как порядок знания становится способом описания общества, понятого как экономика, – калькуляцией страстей, желаний, опасений, надежд и стремлений. Вне этого аффективного ракурса любые хозяйственные и финансовые реалии остаются не более чем собранием вещей и цифрами на бумаге.

С этой тенденцией согласуется и изменение характера рационализации аффектов. Теперь речь идет не об их подавлении и вытеснении, как у метафизических систематиков XVII в., а о контроле и регулировании – при признании легитимности стремления к их реализации («стремления к счастью», как говорится в одном из самых известных документов эпохи). В этом смысле интересен, наверное, наиболее эксцентричный пример подобного сдвига: случай Донасьена де Сада, исчерпывающим образом рационализировавшего (и тем самым легитимировавшего) свои предельно эгоцентричные желания и предпочтения в описаниях их реализации, напоминающих многостраничный бухгалтерский отчет. Де Сада – как литератора и как интегрального персонажа собственных сочинений – можно назвать представителем особого подвида «экономического человека», желающего, трудящегося, производящего и потребляющего субъекта, ставшего абсолютным потребителем, поскольку у него даже желание и его удовлетворение превращаются в труд и производство. В обеих присущих ему ипостасях (исторического лица и прототипа протагониста своих литературных сочинений) де Сад в высшей степени социален и экономичен: его существование немислимо без присутствия других, поскольку лишь с их помощью он способен реализовывать свои безудержные, а по сути, бесконечные желания. Де Сад обращается к другим как к ресурсу собственного жизнеобеспечения, потребляя их напрямую без опосредования промежуточными производственными и товарно-денежными (и какими-либо социально значимыми) операциями. Асоциальность де Сада оказывается оборотной стороной его тоталь-

ной социальности. Он может быть понят как фигура противоположная и одновременно комплементарная Робинзону Крузо, завершающая тенденцию к эмоциональной и соматической эмансипации индивида. У Робинзона нет никакой личной жизни, вся его жизнь насквозь социальна, у де Сада нет ничего, кроме личной жизни, но эта личная жизнь возможна лишь в качестве социального взаимодействия. Робинзон руководствуется своими потребностями, имеющими предел, де Сад – своими желаниями, которые безграничны, а стало быть, в конечном счете неисполнимы. Путь от Робинзона к де Саду – это траектория эволюции социально-экономической антропологии XVIII столетия: от экономики потребностей к экономике желания, от правового и морального субъекта к экономическому человеку – субъекту, определяемому своим желанием, в конституцию которого вписана принципиальная неисполнимость, недостижимость его подлинного объекта. Здесь просматривается «контур системы, рациональность способа функционирования которой» обнаруживается «в производстве нехватки, дефицита и неутоленного желания» [2, S. 348].

Таким образом, новое – социальное, экономическое, эстетическое – проблемное поле формируется в процессе существенного антропологического сдвига, симптом которого можно видеть в том числе и в экспансии и эволюции романного жанра как формы, наиболее пригодной для описания общества, основывающегося прежде всего на экономических отношениях: «настоящий человек» отныне рассматривается как существо скорее аффективное, нежели рациональное, а природная и человеческая реальность – как контингентный мир, а не как каузально детерминированный механизм или опирающаяся на дихотомию суверен/подданные политическая организация. Иными словами, экономика постепенно превращается в важнейший способ интерпретации социальной реальности, экономические дискурсы становятся базисными для всех социогуманитарных дисциплин, а на смену *zoön politicon* в качестве универсальной антропологической матрицы приходит *zoön oiconomicon*.

Рационализация случайного и первично нерационального или, по крайней мере, таковым кажущегося составляет конститутивную черту формирующегося нового порядка знания, конструирующего таким образом свой специфический предмет и свою область исследования – ту самую действительность, в которой осуществляются социальные коммуникации и экономические трансакции и внутри которой разворачиваются литературные сюжеты.

### Литература

1. *Луман Н.* Общество общества : кн. 1–3 / Н. Луман. – М. : Логос, 2011. – 640 с.
2. *Vogl J.* Kalkül und Leidenschaft. Poetik des ökonomischen Menschen / J. Vogl. – Zürich : Diaphanes, 2011. – 393 S.
3. *Шмитт К.* Номос земли в праве народов *jus publicum europaeum* / К. Шмитт. – СПб. : Владимир Даль, 2008. – 670 с.

4. *Кант И.* Критика чистого разума / И. Кант. – М. : Мысль, 1994. – 592 с.
5. *Слотердайк П.* Сферы : в 3 т. / П. Слотердайк. – СПб. : Наука, 2010. – Т. 3 : Пена. – 928 с.
6. *Шмитт К.* Политическая теология : сборник / К. Шмитт. – М. : КАНОН-пресс-Ц, 2000. – 336 с.
7. *Зиммель Г.* Как возможно общество? / Г. Зиммель // Избранное : в 2 т. – М. : Юрист, 1996. – Т. 2 : Созерцание жизни. – С. 509–528.
8. *Дефо Д.* Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо, моряка из Йорка / Д. Дефо. – М. : Детгиз, 1955. – 415 с.
9. *Андерсон Б.* Воображаемые сообщества / Б. Андерсон. – М. : Кучково поле, 2016. – 416 с.
10. *Гоббс Т.* Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского / Т. Гоббс // Соч. : в 2 т. – М. : Мысль, 1991. – Т. 2. – С. 3–590.
11. *Кант И.* Критика способности суждения / И. Кант // Соч. : в 6 т. – М. : Мысль, 1966. – Т. 5. – 564 с.

*Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов*

*Лощевский К. В., кандидат философских наук, доцент кафедры философии и культурологии*

*E-mail: lostchevsky@mail.ru*

*St. Petersburg University of Humanities and Social Sciences*

*Lostchevsky K. V., Candidate of Philosophy, Associate Professor of the Philosophy and Culturology Department*

*E-mail: lostchevsky@mail.ru*